

Александрйский многочлен*

— Евреи, — сказал профессор Берс, — начались с галута. Кто был Авраам-праотец? Халдей. Из Ура. Ур халдейский — здесь, на берегу Евфрата, сорок веков назад он родился в семье Терраха, идолопоклонника. Поклонялись Луне. Авраам первый прозрел: какая Луна, какой бог! Заметьте, с маленькой буквы. А с большой буквы, — профессор Берс сделал круговое движение рукой, — Бог — это вселенная, все, что видит и не видит человеческий глаз. Двинулись в Харран. Почему в Харран, почему не сразу в Обетованную землю? Потому что галут — это дорога, которую начал халдей, а закончил еврей.

Борис Мойшезон, мой земляк, алгебраист из школы Шафаревича, недавно перебрался из Тель-Авива в Нью-Йорк, профессор Колумбийского университета, с двадцати восьми лет доктор, талантлив, обаятелен, застенчив до румянца, ссылается на Генриха Греца:

— Грец говорит, что патриарх Авраам вышел из среды арамеев.

Профессор Берс разводит руками. Борис, плутовато, по-мальчишески улыбаясь, дает географическую справку:

— Кстати, арамеи на севере жили бок о бок с армянами. Ходили друг к другу в гости. По Мандельштаму, Армения — младшая сестра земли иудейской, субботняя страна.

Таких сестер, кивает головой профессор Берс, в те времена у иудеев было не счесть. У Мандельштама, говорит он, на историю собачий нюх: одной молекулы достаточно, чтобы учуять запах. Большой был поэт. Очень большой. Может быть, гений. Его отец, Эмиль Хацнель, был родом из Риги.

— Мой земляк, — сказал профессор Берс. — После революции с папой и мамой я жил в Петербурге. Петрограде. Потом были другие города: Берлин, Цюрих, Прага, Париж. Другие города, другие времена. Но Петербург остался в памяти навсегда. Конечно, это свойство детской памяти. Но не только. Я помню строчки Мандельштама:

Над желтизной правительственных зданий

Кружилась долго мутная метель...

Автор теории псевдоаналитических функций, в семидесятые годы президент Американского математического общества, Липман Берс, насколько не стесненный своими семьюдесятью годами, сухощавый, поры-

*Фрагмент из новой книги

вистый, беспрестанно, даже и оставаясь неподвижным, в движении, он создавал атмосферу удивительной простоты и естественности, которая распространялась и на его причудливые антрепризы, в которых математика сочеталась с любой интеллектуальной моделью.

Воротясь к прежней своей мысли, о галуте, положившем начало истории евреев еще до Моисеевых дней в стране, обещанной Господом, Берс вспомнил Мицраим, Египет, который дал приют израильтянам, пастухам овец, в земле Гошен.

— Их никто туда не звал, — сказал он, — они сами пришли, убегая от голода. Свободные люди, они стали рабами, которые лепили кирпичи для фараонов. Им понадобилось четыреста лет, чтобы спросить себя: "Разве мы не были свободными людьми? Что мы здесь делаем? Где наш Ягве?". И нашелся среди них человек, именем Моше, который прошел выучку у египтян и, случалось, сам выдавал себя за египтянина, и встал во главе этих людей, ибо никто не мог сравниться с ним в познаниях. И волхвы египетские, самые осведомленные среди египтян, не могли: позаимствовав у них многое, он во многом и превзошел их.

Тысячу лет спустя по соседству с теми краями, где Моисей со своими гвардейцами-левитами водил двенадцать колен, которым обещана была страна, где молоко и мед, Александр Македонский, ученик Аристотеля, заложил на берегу Средиземного моря, у дельты Нила, город.

В истории галута, который евреи вслед за греками стали именовать диаспорой, сказал профессор Берс, Александрия сыграла роль, до сих пор не вполне понятую ни самими евреями, ни теми, иудеями и не-иудеями, кто писал их историю.

Борис, как это делают в классе, поднял руку:

— Липа, можно спросить?

Липман Берс, среди друзей и университетских коллег с давних пор Липа, скомандовал по-учительски:

— Руку опустить. Прежде чем спрашивать, научись отвечать. Вопрос первый: как объяснить, что Александр Македонский, одержимый идеей мировой империи, отвел иудеям перворазрядную роль в основании эллинских городов на Востоке? Немец Теодор Моммзен, который знал об античности и эллинизме столько, сколько может в XX веке знать один человек, говорил: евреи принимали выдающееся участие в эллинизации Востока и Египта, сколь ни странно было то, что их призвали к этой роли. Уточним, странностей в этом случае было две: одна — иудеи крепко держались за обычаи отцов, обрезая крайнюю плоть; другая — они были зем-

ледельческим народом. Знал ли об этом Александр Великий, у которого наставником был Аристотель? Знал, и не только об этом, ибо Аристотель знал евреев и об евреях больше, чем вся Академия Платона, об основателе которой еврейские апокрифы утверждали, что он вышел из школы Иеремии. Что не было тайной для ученика Платона, Аристотеля, не осталось тайной и для ученика Аристотеля, Александра, именем которого иудеи стали нарекать своих сыновей.

Прервав на мгновение монолог, чтобы выйти на новый виток, Липман Берс поднял палец и держал его перед собой:

— Так вот, галутники, слушайте, ибо говорю вам: из тех, кто делал историю своими руками, македонский грек первый постиг провиденциальную роль интеллектуального заряда иудеев. Созданная им Александрия включала пять кварталов, два из них заселили евреи. В каждом квартале города был свой бет кнесет, "дом собрания", который александрийские евреи называли греческим словом: синагога. Искусные в ремеслах, евреи стали искусными в городской торговле, стали купцами-мореходами, стали инженерами-строителями, вызывая у своих соседей уважение и восхищение, которые всегда идут рука об руку с завистью. Парадокс: среди завистников первое место занимали сами греки, которые не решались бесчинствовать в иудейских кварталах, но тем охотнее заведомо безнаказанно подвергали еврея поношениям и насмешкам в собственных кварталах, глумясь над его верой, над его греческим языком, во многих случаях не только не уступавшим языку природного эллина, но превосходившим его. Превосходившим и по словарному запасу, и по совершенству фразы, которые достигаются только постоянным чтением и упражнениями.

В этот раз в нарушение школьного ритуала Борис не поднял руку, а ловко, воспользовавшись паузой, вклинился со своим текстом:

— Да, александрийский еврей говорил по-гречески не хуже эллина. Но какой ценой! Впервые в своей истории он потерял родной язык — язык отцов.

— Как впервые! — схватился профессор Берс. — А иврит, место которого в буднях, евреи уже и сами не помнили когда, отдали арамейскому! Или вы будете мне доказывать, что иврит и арамейский — это как русский и украинский!

Борис заявил, что не будет доказывать, но одно дело — свободный, естественный процесс, а другое дело — насилие...

— Так вот, профессор Мойшезон, — сказал Берс, — насилия не было...
— Липа, — тряхнул руками Борис, — дайте сказать слово!

Так вот, продолжал Берс, александрийские евреи эллинизировались не под давлением властей. Александр и Птолеми не давили на них. Евреи получили практически все, что могли получить в те времена полноправные граждане полиса. У них были не только свои духовные лидеры, признанные властями. У них был, говоря понятным русскому человеку языком, свой райсовет, орган самоуправления в Александрии — столице царства Птолемеев. Они и жили по соседству с дворцами царей. Триста лет спустя Иосиф Флавий писал об этом с гордостью, как будто намекая императорам, что и Рим мог бы найти в этом примере назидание для себя.

Рим, сказал Берс, не нуждался в назиданиях иудейского историографа. Юлий Цезарь, величайший из римлян — благословенна будь его память! — провел через сенат указы о признании евреев друзьями и союзниками римского народа. Подтвердив право евреев на религиозную свободу, в Александрии Цезарь свидетельствовал свое безусловное уважение к иудейской традиции, признав в полном объеме власть тамошнего алабарха, главы еврейской общины города, независимого от греческого магистрата.

— Все, — Борис поник головой, как будто публично покоряясь и Клото, прядущей нить жизни, и Атропе, перерезающей ее, — профессор Берс оседлал своего александрийского конька.

Александрийский конек, напомнил Берс, назывался Пегасом. Но лично его в данном случае интересует не сам Пегас, а Музы, с которыми он был дружен. И не вообще Музы, а только одна из них: Клио. У нее было свое хозяйство, история, и это хозяйство, сколько могла, она старалась держать в порядке. И в этом деле среди первых помощников у нее были иудеи, которые посылали своих детей с пяти лет в школу, чтобы папирус и пергамент, писчие материалы Клио, были у них под рукой. Ну, не под рукой, перед глазами, поправился Липа, потому что стоили очень дорого.

Дорого, подтвердил профессор Мойшезон, но на папирусе и пергаменте евреи записывали Тору и свою историю, когда у греков еще не было своего алфавита который спустя века они заимствовали из финикийско-еврейского письма. Сказал Господь: "Я емь Алфа и Омега, начало и конец".

Профессор Берс поблагодарил за справку, но продолжал стоять на своем: дети александрийских евреев в своих школах, где учителя проводили уроки на греческом языке, учили на память стихи Гомера, штудировали философию Платона и Аристотеля, читали современных поэтов-александрийцев, среди которых, известно, были их соплеменники и единоверцы. По мнению Теодора Моммзена, одно из лучших сочинений античности по эстетике, "О возвышенном", принадлежит перу иудея или, во всяком слу-

чае, человека, в одинаковой мере почитавшего Гомера и Моисея. Иудео-эллинистического поэта псевдо-Фокилида, взявшего себе имя известного поэта-дидактика из Милета, поначалу воспринимали как подлинного Фокилида, греческого лирика, писавшего за двести лет до возникновения Александрии. Только позднее обратили внимание, что этически вся лирика псевдо-Фокилида черпает из Септуагинты, греческого перевода Пятикнижия III века до н. э., и еврейских апокрифов последних двух веков до нового летосчисления.

В философию эллинов иудеи-любомудры погружались, как в микву, ритуальный бассейн. Сочинение, в котором автор пытался сочетать Аристотеля со стоицизмом, вероятнее всего, полагает Моммзен, написано было евреем. По обычаю эллинов автор посвятил его Тиберию Александру, высокопоставленному иудею эпохи Нерона. Евреи в это время уже без колебаний и оглядки на заветы отцов нарекали своих детей греческими именами.

— Не надо далеко ходить за примерами. Профессор Мойшезон, помогите мне, вспомним хотя бы первосвященников. Ну...

Вспомнили: три Аристобула, Язон, Менелай, Антигон, Александр. Кажется, кого-то упустили. Борис вспомнил: Теофила упустили.

В философии Филон Александрийский заслонил всех евреев, собратьев по племени и цеху, как, впрочем, заслонил и современников греков. Историки до сих пор не могут прийти к единому ответу на вопрос: в какой мере Филон владел языком отцов? Одни говорят "едва", другие — "едва ли".

В синагогах Александрии уже без малого триста лет проповеди читались на греческом языке.

— Септуагинта, перевод семидесяти толковников, — сказал профессор Берс, — выполнен был не по заказу Птолемея Филадельфа, а по настоятельной нужде александрийской диаспоры, которая в массе своей никакого другого языка, кроме греческого, не знала. Складывалась нестерпимая для иудея ситуация: Господь и его пророки говорили, а сыны Израиля не понимали. Казалось бы, учите своих детей в школах, чтоб понимали. Да, но как заставить детей, если все вокруг говорят по-гречески! Как заставить папу, маму, которые сами забыли, когда в последний раз слышали на улице родное слово!

Поставив вопросы, профессор Берс не стал дожидаться ответа, ибо, сказал он, в вопросах этих заложен и ответ: заставить нельзя было хотя бы потому, что заставлять было некому. Еврейские грамотеи сами осваивали язык эллинов и писали на нем свои сочинения. Был какой-то Аристей, который рассказывал грекам, что сам царь Птолемей пожелал ознакомиться

с законами евреев по их священным книгам и для начала пригласил сведущих в Писании иудеев, толковников, к застольной беседе. Следствием беседы, за которой последовал еще ряд бесед, общим числом 7, было пожелание царя, чтоб столь мудрые законы были переведены на греческий язык.

Бесспорно, сказал Липман Берс, у автора истории были самые благочестивые намерения, но благочестие, как и всякая добродетель, сильно теряет в своих достоинствах, преступая священные границы факта. Другой александрийский историк, Артапан, начал с того, что сам себя взялся убеждать в родственной близости еврейских преданий и сказаний Древней Эллады. Сочетая в душе своей ревностного апологета иудаизма со страстной восторженностью неопита-эллиниста, Артапан установил, что Моисей иудеев и Мусей греков — это одно лицо. При этом в греческий миф он внес поправку: не Мусей является учеником Орфея, а напротив, Орфей состоял в учениках у Мусея, который был ему первый наставник. Отсюда следовало, что Моисей-Мусей в действительности был тем человеком, который учил всех людей искусствам, мореходному и военному делу, философии и мудрым началам общественного устройства, как передавались они с тех пор из поколения в поколение у египтян и греков.

Выстраивая в общем ряду фигуры египетских и греческих мифов, автор "Истории евреев" Артапан отыскивал им эквиваленты в библейской истории, находя в этом убедительное основание тому пиетету к эллинизму, которым были проникнуты александрийские евреи.

Ничто так не располагает иноплеменника к заимствованиям и подражанию, как собственный пиетет. Греческие гимнасии, спортивные состязания, где мальчики и юноши упражнялись и соревновались нагишом, привлекали иудейских отроков, воспитанных в сознании, что нагота человеческая — срам. Присыпанное пылью тысячелетий, сознание это не всегда справлялось с натиском будней, и не только иудейские юнцы, но и отцы их и матери, оберегая в душах своих заповеди Торы, в быту изыскивали и находили способы обойти их.

То, что повергало в уныние дедов, вызывало у их внуков насмешку над людьми из каменного века, которые не могли, а еще в большей мере не хотели понять, что у каждого дня своя поступь, и тот, кто не может приноровить свой шаг к шагу дня, либо отойди в сторону, либо, еще лучше, сиди дома.

— Но как, — профессор Берс зажмурил один глаз, — я вас спрашиваю, как еврею сидеть дома, когда вся улица на улице! Три тысячи лет с гаком назад, при каком-нибудь Рамзесе или Аменхотеpe в Египте, евреи, в особенности еврейки, плясали и соревновались с египтянами в разнузданнос-

ти, как будто хотели занять призовое место в оргиях. Тысячу лет спустя на праздниках македонян александрийский еврей чувствовал себя почти македонцем. Во всяком случае, Иосиф Флавий, говоря об александрийских гражданах, находил возможным называть и тех и других македонянами. И тысячу раз прав Гиббон — редкий случай, когда великий историк и великий писатель в одном лице! — который писал: в Римской империи все культы рассматривались простыми людьми как одинаково истинные, философами — как одинаково ложные, а властями — как одинаково полезные. А иудеи, которые в Александрии были всегда на всех трех ролях...

Профессор Мойшезон удивился:

— Всегда?

— Ну, не всегда, — сказал Берс, — но чаще да, чем нет. Иудеи, воспользуемся языком математики, в большинстве случаев находили способ вставить свой *икс*, *игрек*, *зет* в александрийский многочлен. Как говорил, — засмеялся весело Липа, — гениальный математик, человек из Одессы, Марк Крейн: "Я одночлен из многочлена вычленяю!". Со временем, как и следовало ожидать, эллины обнаружили в александрийском многочлене столько иудейских аргументов, что предпочли податься в иудео-христианство, которое и употребили как свой аргумент против хитроумных иудеев, уже вполне уподобившихся, в своих греческих туниках и хитонах, эллинам.

— Но под хитоном и туникой александрийского галутника, — сказал Борис, — все равно стучало еврейское сердце!

— И еще как стучало! — подхватил профессор Берс. — И продолжало стучать столетия спустя, когда в дремучей средневековой Европе, где императоры, герцоги и ландграфы, девять из десяти, едва осилили алфавит, среди тех, кто открывал новым хозяевам континента философию и изящную словесность древних эллинов, духовные потомки александрийских иудео-эллинов находили свою кафедру и в школе, и на городской площади. Соломон Гебироль, уроженец Малаги, поэт и философ, по определению Греца, "еврейский Платон", в своем трактате "Источник жизни" не отдал ни единой строки стиху из Библии. Однако этот певец, завершивший свою земную дорогу на тридцать седьмом году жизни, сочетал, по мнению историков, как никто другой, мысль и поэзию, истину и красоту.

— Да, — подтвердил профессор Мойшезон, — по мнению историков, сочетал как никто другой. А по мнению поэта Гейне, вслед за неоплатоником Гебиролем пришел другой, который еще больше сочетал: Иегуда Галеви, иудей из Кастилии. Между прочим, о нем говорили: "Из Кастилии воссиял свет, чтоб озарить мир".

Берс по-солдатски поднял руки:

— Сдаюсь. Но прошу помнить, профессор Мойшезон: Женевская конвенция предписывает гуманно обращаться с военнопленными. А теперь я вам скажу: неоплатоник Гебироль мозгу верил больше, чем сердцу; а начинающий аристотелик Галеви испугался наступления царства рассудка и предпочел ему царство чувства, которое сродни вере: рассудок оспаривает, а чувство, как и вера, требует: "Веруй!". Галеви же говорил: "Забыть Бога, значит, забыть самого себя". Но при всем этом и Гебироль, и Галеви, оба, и в радости и в унынии, одержимы были всю жизнь тоской пришельцев: "Да есть ли у нас на востоке или на западе определенное место, где мы могли бы спокойно пребывать?". И тут, галутники, — сказал профессор Берс, — не время ли открыться нам в кощунстве: в тоске пришельцев не перемешались ли, как в приворотном зелье колдуний, горечь и коварная сладость, так что не отделить одну от другой? И не обратиться ли, для примера из близких нам дней, к русскому поэту Осипу Мандельштаму, иудео-эллину от первой строки до последнего гвоздя, если...

— Если, — нашел слово Борис Мойшезон, — у поэта Мандельштама был гроб, в крышку которого был вбит этот гвоздь.

— Мнемозина, Мнемозина, — воззвал профессор Берс, — помоги вспомнить...

— Липа, — скорчил гримасу Борис, — пристало ли иудею, академику, взывать к греческим богам, чтобы помогли вспомнить...

— Умолкни, завистник! — отозвался Берс. — Ради таких стихов пристало:

На каменных отрогах Пиерии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.

Остановившись на мгновение, Берс прижал пальцами виски и торопливо, как будто опасаясь, что опять придется звать Мнемозину, продолжал:

О где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба,
И колесо вращается легко.

— Где, — воскликнул Берс, — где, у какого поэта-эллина, спрашиваю вас, найдете вы такие стихи, чтобы вся мечта человека о совершенном мире встала в пять строк! Здесь он весь перед вами, этот иудео-эллин, которого две тысячи лет носило по миру, пока не занесло в Россию, где тоска,

никогда не оставлявшая его, принудила память воротиться в давно покинутые края, обретшие за давностью лет волшебные черты потерянного рая. Я думал, это все-таки уникальный случай, но недавно мне дали почитать стихи другого русского поэта, Иосифа Бродского, у которого, показалось мне, тоже комплекс иудео-элина, как у Манделштама. Греки, — засмеялся Берс, — сбондили Елену по волнам, ну, а мне соленой пеной по губам! Не забудьте взять в кавычки.

На этих словах позволю себе оставить Колумбийский университет в Нью-Йорке, где на кафедре математики двадцать лет назад неожиданно-негаданно пофартило мне быть свидетелем ученого разговора об иудео-эллинизме и александрийском многочлене двух выдающихся алгебраистов, Липмана Берса и Бориса Мойшезона, и попрошу читателя перебраться со мною, в те дни научным сотрудником Русского центра университета, в Гарвард. Здесь, несколько времени спустя после возвращения из Стокгольма, поэт Иосиф Бродский, Нобелевский лауреат 1987-го года, встретился с профессорами, аспирантами, студентами и пришлыми любителями изящной словесности, о которых никто не знал, как, впрочем, и не спрашивал, кто они, откуда. Университетский демократизм Гарварда не показатель, а имманентный, говоря русской метафорой, посконный.

Бродскому был задан вопрос: кому из русских литераторов XX века он считает себя, как поэт, наиболее обязанным?

— Ну, Манделштам... Да, конечно, Манделштам, — сказал Бродский. — Я думаю, я уверен, он самый большой русский поэт века.

Объясняя, как сложился в его восприятии образ самого большого русского поэта XX века, он частью повторил то, что ранее писал в своем очерке о крайне одинокой фигуре в русской поэзии, каким представлялся ему и каким в действительности был Манделштам. Еврей, поэт жил в столице Российской империи, где господствующей религией было православие. И религия, и политическая структура этой империи были унаследованы от Византии. Вследствие этого Петербург, чужой и близкий до слез, стал для поэта эсхатологическим убежищем. Это определило у него и особое чувство времени. В категориях самого поэта, "шум времени". Строго говоря, не Манделштам выражал время, а время выражало себя через Манделштама. Петербург, в архитектуре которого классицизм нашел свое непреходящее, свое каменное выражение, был для Манделштама российской Александрией. Сквозь контуры города проступала античная Эллада, куда поэт убегал в метрику Гомера, в александрийский стих — "Бессонница. Гомер. Тугие паруса..." — где, по-язычески живучий, он брал верх над своим

отчаянием, над одиночеством, которое никогда не оставляло его. При всем этом он всегда, подобно Одиссею, был "пространством и временем полный". Греция была для него вечна, как и Рим, как библейская Иудея и христианство. Средиземноморье, в генетической памяти этого эллина, иудея, римлянина, было родным домом. А дома, с постоянным адресом, который после Октября, в сталинской России, полагался всякому советскому гражданину с паспортом, у Мандельштама никогда, за вычетом считанных недель, не было. Он оставался сиротой эпохи, "бездомным во всесоюзном масштабе".

Неподалеку от меня, ближе к двери, прозвучала произнесенная с английским акцентом строка: "На Васильевский остров я приду умирать". Было впечатление, Бродский услышал свою строку, круто вскинул голову и тут же торопливо, как будто спешил сам себя поправить, горячо заговорил:

— Мандельштам, да, был талантливый поэт. Но в России было много талантливых поэтов. XIX век: Баратынский, Вяземский, Пушкин, Катенин, а еще раньше Державин, Кантемир, Херасков. Моими учителями были Цветаева, Пастернак, Ахматова, Гумилев, Ходасевич, Заболоцкий, Кузмин, Клюев, Маяковский, да-да, Маяковский, и конечно, Мандельштам.

Аудитория напомнила:

— Вы говорили о Мандельштаме, что считаете его самым большим русским поэтом века.

— Я говорил? — пожал плечами Бродский. — Да, наверное, говорил. Но первый русский поэт века — Цветаева.

В своей нобелевской лекции он назвал пять поэтов — первым Мандельштама, за ним Цветаеву — тех, чье творчество и чьи судьбы ему дороги, ибо, не будь их, он, как человек и как писатель, по его словам, стоил бы немногого. В конце лекции, помянув заслуги поколения, частью погребенного в могилах сталинского архипелага, он опять назвал Мандельштама: "И тот факт, что я стою здесь сегодня, есть признание заслуг этого поколения перед культурой; вспоминая Мандельштама, я бы добавил — перед мировой культурой".

Поколение Мандельштама передало эстафету мировой культуры поэту Иосифу Бродскому. До конца века оставалось тринадцать годов.

— Кого из прозаиков...

Бродский не дослушал:

— Моя фанаберия — поэзия.

— Но все-таки, кого вы считаете самым крупным в русской послеоктябрьской прозе?

Бродский задумался, с разных сторон шли подсказки: Булгаков, Платонов, Бабель, Зощенко..

— Добычин, — быстро произнес Бродский. — Леонид Добычин.

Аудитория Добычина не знала. Переспрашивали с недоумением, друг у друга: "Добычин? Леонид Добычин?".

Оказалось, автор романа "Город Эн", сотня страниц, и двух книжек рассказов. По оценке Бродского, роман гоголевской силы, название из "Мертвых душ". Чичиков приезжал в губернский город NN. У Леонида Добычина — город Эн. Провинциальная жизнь. Все происходит, как всегда в русской провинции, точнее, ничего не происходит. Впрочем, произошла революция. У Добычина обостренное чувство семантики. Да, прустовское внимание к мелочи: мелочь перерастает по своему значению главное. Сильна джойсовская нота: сквозь долгое назойливое бормотание прорывается внятное слово. Добычин дружил с обэриутами, но их манифеста — "Смотрите на предмет голыми глазами!" — не разделял. Обэриуты — такое литературное течение в Питере. 20-е годы. Слависты знают. Добычин стоял особняком. Литераторы его боялись. Прозу Бабеля считал "парфюмерной". Да, среди обэриутов был поэт Даниил Хармс. Своеобычный. Увлекался английской поэзией. В сорок первом был арестован в блокадном Ленинграде. Помер в Сибири, в тюремной больнице. Теперь стихи Хармса в домашней библиотеке у каждого школьника.

Даниила Хармса аудитория знала. Знала и то, что английских поэтов Хармс читал в оригинале. Сохранилась тетрадь поэта с переписанными от руки стихами Блейка, Кэрролла, Киплинга, Милна.

Вспомнив английских поэтов, заговорили об английских стихах Бродского: русский поэт, почему он стал писать английские стихи?

Бродский сказал: всякий культурный человек, во всяком случае, человек, который считает себя культурным, должен пользоваться, по крайней мере, двумя языками. Тем более в его оказии, поскольку он принадлежит к двум культурам.

Культурно-лингвистическое двуязычие поэта публичный статус получило уже ранее. У всех на памяти была нобелевская лекция Бродского, где он говорил, что волею судеб принадлежит к двум культурам. О современниках и собратьях по перу в обеих этих культурах, о поэтах и прозаиках, он объявил урби эт орби, что их дарования ценит выше своего. Более того, выразил уверенность, что, окажись эти поэты и прозаики на его месте, они сказали бы миру больше, чем мог сказать он.

Эти слова поэта — существа, у которого скромность, состязаясь с гор-

дыней, не всегда, как известно, выходит вперед — тем больше имели весу, что сорвались не с кондачка, а были, прежде чем оказались произнесенными вслух, занесены на лист бумаги, где подверглись самому взыскательному досмотру.

Собственно, тема была исчерпана, и человек из аудитории, затеявший разговор об английских стихах Бродского, подтвердил, что в этом пункте все ясно, а теперь он хочет задать поэту другой вопрос:

— Зачем вы печатали свои английские стихи?

Не сам вопрос, но тон, каким были произнесены слова, казалось, оставил место только для немой паузы, которая сохранялась до тех пор, пока не заговорил Бродский. Ну, сказал он, всякий поэт, конечно, пишет в первую очередь для себя, но, понятно, хочет, чтобы стихи его знала публика. Он сам готов присоединиться к тем, кто видит в этом слабость, суетность. Но такова природа сочинителей стихов.

— Но ваши английские стихи — плохие стихи. Вы понимали, — спросил человек, — что ваши английские стихи — плохие стихи?

Бродский ответил, да, они уступают русским стихам, но и русские стихи его не все равны по качеству.

— Значит, вы понимали, — стоял на своем человек, — что ваши английские стихи — плохие стихи. И все-таки публиковали их, хотя знали, что такие стихи английского автора никто не стал бы печатать.

Бродский сказал, да, возможно, так; видно было, что мысль свою он не закончил, обдумывает продолжение...

— Значит, — не стал ждать продолжения человек из аудитории, — вы воспользовались своим доступом к средствам печати и публиковали то, что заведомо публиковать нельзя было.

Бродский сказал: когда русский поэт пишет английские стихи, пусть издатели сами решают, что заведомо можно и чего заведомо нельзя.

Несомненно, в этом был свой резон. В других обстоятельствах, когда дело касалось не собственных его сочинений, Бродский выступал на ролях то званого, то незваного советчика американских издателей. Но разумеется, последнее слово во всех этих случаях оставалось за издателем.

